

Рецензия

Д. В. Спиридонов

Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина

Рец.: Лоскутникова М. Б. Русское литературоведение XVIII–XIX веков: Истоки, развитие, формирование методологий: учеб. пособие / М. Б. Лоскутникова. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 352 с.

Единой традиции историографии отечественного литературоведения, несмотря на множество работ, в том числе обобщающего и учебного характера, в сущности, не сложилось. Одна из главных причин того – сложность определения статуса литературно-критической мысли на разных этапах и в разных формах ее существования. В этом отношении можно выделить два крайних подхода. Первый концентрируется на изучении развития научного литературоведения – иллюстрацией такого подхода является широко известная книга «Академические школы в русском литературоведении» (М., 1975). Второй подход фокусируется на истории развития русской критики, подразумевая под этим очень широкий круг не столько научных, сколько публицистических работ о литературе, не имеющих специальных исследовательских задач, – именно так построен, например, учебник «История русской литературной критики» под ред. В. В. Прозорова (М., 2002), включающий обширный материал XVIII–XIX веков, но совсем не освещающий развитие академических школ и направлений. Несмотря на то, что эти два историографических подхода в некотором смысле условны, ибо взаимовлияние академической науки и литературной публицистики на определенном этапе становится трудно игнорировать, примеры успешного, методически приемлемого опыта их объединения под одной обложкой немногочисленны. Здесь в первую очередь необходимо упомянуть учебник «История русского литературоведения» П. А. Николаева, А. С. Курилова, А. Л. Гришунина (М., 1980), где наряду с критикой, в т. ч. XVIII века, рассматриваются наиболее влиятельные направления академической науки XIX столетия. Однако в случае с этой работой такое построение объясняется общим пафосом «поиска корней» марксистского литературоведения, генеалогия которого, разумеется, должна была идти из как можно более далеких эпох – от Ломоносова, который в своих теоретико-литературных работах «стремился удовлетворить истинные потребности развития русской национальной культуры»¹, через публицистику демократического крыла русской критики XIX века, освещаемую светом академического (позитивного, «объективно-научного») знания о литературе. Марксистское литературоведение мыслится в этой

¹Николаев П. А., Курилов А. С., Гришунин А. Л. История русского литературоведения: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 1980. – С. 4.

схеме как венец этого «всестороннего» развития («Если бы не было этих связей, вряд ли был бы объясним интенсивный процесс развития нашей научной мысли в начале XX в. В этот период лучшие представители академических школ осознают великое значение марксистской методологии, стремятся овладеть ею»²). Но как возможно соединение научного и публицистического в современном учебнике, не отягощенном марксистской идеологией? Задача такого соединения с методической точки зрения нетривиальна. Остается лишь сожалеть, что в учебнике М. Б. Лоскутниковой она не только не была решена, но даже не была осознана.

Первая часть учебника, озаглавленная «Вопросы истории науки и образования», посвящена в основном истории развития университетов в России и мире. Необходимость этих сведений вызывает большие сомнения: зачем, например, студенту, изучающему историю русского литературоведения, знать, когда был основан Оксфорд, Кэмбридж или Сорбонна, как было устроено преподавание в средневековом европейском университете или как менялся статус университета в России? Это информация в дальнейшем нигде и никак не пригождается ни автору, ни читателю учебника. Замыкают первую часть разделы, дающие самый общий обзор развития филологии в XVIII–XIX веках. Содержание этих параграфов, вроде бы не претендующее на новизну, порой ставит в тупик. Так, говоря о значении трактатов Аристотеля, Горация, Скалигера, Буало для развития теоретико-литературной рефлексии в европейской культуре, автор замечает: «Собственно русские исследования историко-теоретического характера обнаруживаются в первом великом национальном источнике – “Слове о полку Игореве”, изданном в 1800 году». В частности, элементами такого «историко-теоретического исследования» автор предлагает считать «размышления об историко-публицистическом и художественно-вымышленном в освещении действительности» (С. 24). Разумеется, определенная литературная рефлексия в тексте «Слова» присутствует, но его никак нельзя назвать «исследованием»! Еще большее недоумение вызывает характеристика литературной критики 1-й трети XIX века, о которой говорится, что «в этот период времени она во многом выполняла функции историко-литературной науки» (С. 27). Становится понятно, что автор здесь и далее будет называть наукой абсолютно любую форму филологической мысли. Вместе с тем, мириться с таким положением дела трудно, ибо наука, критика и нормативная поэтика – все же разные вещи. Более того, их дифференциация принципиально важна для курса истории литературоведения.

М. Б. Лоскутникова отчетливо осознает это, о чем свидетельствует начало второй части («Русские “словесные науки” XVIII века»), где говорится о различии между теорией литературы, историей литературы и литературной критикой как литературоведческими дисциплинами. В то же время далее автор словно бы забывает об особом статусе критики и нормативной теории литературы в их противопоставлении научной истории и теории. Так, изложив на нескольких страницах основные положения эстетики (но никак

²Там же. С. 8.

не научного метода!) классицизма, автор пишет: «С приходом сентименталистов видоизменяется жанровая картина научных изысканий и критики, в частности, уходит в прошлое жанр трактата» (С. 39). О каких научных изысканиях в конце XVIII века идет речь? Кроме того, поэтический трактат никогда и не был «жанром научных изысканий». Следующее предложение: «На характер анализа литературных произведений с научных позиций и на критические суждения и оценку оказала влияние просветительская идеология» (С. 39). При этом автор приводит в пример деятельность Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова и А. Н. Радищева, о которых едва ли можно говорить как об исследователях, занимавшихся «анализом литературных произведений с научных позиций». О развитии чего идет речь в первой главе второй части: нормативной поэтики, критики или науки, – остается неясным. Например, «одним из наиболее значимых фактов науки» (С. 42) называется анонимный «Краткий и всеобщий чертеж наук и свободных художеств» (1792), автор которого придерживался явно нормативистской установки (С. 42–43).

Вторая глава второй части «Русская классицистическая наука и критика» содержит монографический обзор деятельности М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова, Г. Р. Державина. К сожалению, обзоры эти являются, по сути, рефератами работ указанных авторов, анализа в них почти нет, каждая страница испещрена цитатами из первоисточников. Кроме того, здесь, как и ранее, остается непроясненной специфика существования филологического знания в России XVIII века, что приводит к разного рода двусмысленностям. Так, например, один из параграфов назван: «Положения классицистической науки в филологических трудах В. К. Тредиаковского» (С. 53). Что же такое «классицистическая наука»? К сожалению определения этого понятия на страницах учебника нет. Между тем, в эпоху господства классицизма говорить о существовании литературной науки в современном понимании невозможно. Лишь внимательный читатель (много ли таких среди студентов?), успевший приспособиться к весьма специфической логике автора учебника, сможет провести параллель между «классицистической наукой» и «словесными науками», как их называли в XVIII веке (риторика, грамматика, оратория, поэзия), о которых говорится на страницах 40–41. Однако последние являются собой совокупность *нормативного* литературного знания эпохи, и слово «наука» в этом выражении надо понимать не как «исследование», но как «знание правил». То же замечание следует сделать и по поводу употребления слова «филология» применительно к теоретико-литературной мысли той поры³. Только в этом контексте можно принять такое, например, замечание: «Как филолог, Тредиаковский был убежден, что героическая поэма <...> является лучшим достоянием словесного искусства» (С. 59). Интересно, что мнению Тредиаковского «как филолога» противопоставлено его же мнению о героической поэме «как непосредственного читателя». Симптоматично,

³Например, все в том же анонимном «Кратком и всеобщем чертеже наук и свободных художеств» (1792) филология определяется как «собрание правил и примечаний о употреблении слова» (С. 42–43).

что, несмотря на формальное противопоставление, содержательно его мнение как «непосредственного читателя» ничем не отличается от его же мнения «как филолога».

Венчает главу следующее утверждение: «В начале XIX века Г. Р. Державин завершил эпоху классицистической науки и критики, представив, в частности, развернутую характеристику жанра оды, также, по сути, ушедшей в прошлое» (С. 80). Почему именно Державин завершил эпоху «классицистической науки» и что вообще скрывается за такой формулировкой? Имеет ли в виду автор тот факт, что Державин завершил эпоху нормативной поэтики, т.е. определенного *типа* филологического знания? Или же что Державин – последний теоретик *классицистической* литературной эстетики? И почему «добило» эту «классицистическую науку» именно «определение жанра оды»? Вина ли в этом определение или ушедший в прошлое жанр? Продолжая разговор о специфике «классицистической науки», полезно процитировать следующий пассаж: «В определении жанра оды <...> Державин выступал как *восторженный поэт, безоглядный служитель своей музы*, не видящий в ней недостатков и отвергающий возможность таковых. Определение жанра *не содержало логических суждений*, а представляло собой метафоры, яркие образные сравнения, метонимические конструкции» (С. 76; курсив мой – Д. С.). Понятно, что, будучи, так сказать, «ученым классицистом», Державин был поэтом, а не исследователем. Однако автор вновь вносит сумятицу, говоря о том, что работа Державина «Рассуждения о лирической поэзии и об оде» «может быть названа образцом преданного и всепоглощающего служения делу и страстным напутствием будущим исследователям» (С. 79). Каким исследователям? Исследователям жизни и творчества Державина? Но это совсем другой аспект проблемы, кроме того, в этом контексте не понятна «образцовость» данной работы. Или же речь идет об исследователях жанра оды? Тогда как быть с разрывом между нормативной теорией и практикой стихосложения, ведь работа Державина отражает лишь его взгляд на то, какой *должна быть* ода?

Третья глава второй части «Развитие словесных наук в России во 2-ой половине XVIII века. Идеи Просветительства» содержит аналогичный обзор литературно-критической деятельности В. И. Лукина, П. А. Плавильщикова, Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, А. Н. Радищева. Работы этих авторов также просто реферируются, причем, на наш взгляд, чересчур подробно. Истории литературоведения в этих очерках, по сути, тоже нет. Наивность же комментариев порой становится нестерпимой. Например, говоря об «Опыте исторического словаря о российских писателях» Новикова, М. Б. Лоскутникова приводит его замечание о том, что комедия «Бригадир» Фонвизина «сочинена <...> точно в наших нравах, характеры выдержаны очень хорошо, а завязка самая простая и естественная». «Эту формулировку Новикова, – пишет автор учебника, – можно рассматривать как объективное зарождение представлений о реализме в литературе» (С. 97). Что же в приведенной цитате указывает на «объективное зарождение представлений о реализме в литературе»? Думается, что против «выдер-

жанности» и достоверности характеров и естественности завязки не возражали бы и классицисты⁴.

В четвертой главе «Русская сентименталистская критика» речь идет о «сентименталистской практике анализа произведений словесности», специфика которой остается туманной, поскольку рассуждения о практике анализа автор подменяет рассуждениями об эстетике сентиментализма. Об уровне этих рассуждений читатель вполне может судить по следующей цитате: «Сентименталистская культура, опирающаяся на идеи Просветительства, актуализировала интерес к ценностям обыденности, обыкновенности, изящной повседневности» (С. 118).

Третья часть «Русская академическая наука XIX века» посвящена по определению менее спорным темам. Первая глава содержит обзор русской критики начала XIX века и освещает деятельность А. Ф. Мерзлякова, В. А. Жуковского, А. А. Бестужева-Марлинского, П. А. Вяземского, Н. И. Надеждина, С. П. Шевырева (заметим, не имеющих прямого отношения к «академической науке»). Этот раздел учебника представляет собой словно компиляцию энциклопедических статей, разве что о Шевыреве и Надеждине автор говорит более свободно и подробно.

Вторая глава открывается теоретическим пассажем, в котором вводятся понятия «научная школа» и «научное направление». К несчастью, даваемые дефиниции никак не проясняют специфику данных понятий. Научная школа определяется как «направление в науке, <... > связанное единством основных взглядов, общностью или преемственностью принципов и методов». После чего автор замечает: «В эпоху формирования Нового времени [от себя заметим, что автор учебника, видимо, не знает, что формирование Нового времени приходится на XVI в. – Д. С.] научная школа может быть приравнена к направлению. Но направление – более широкое понятие, которое может включать в себя ряд школ» (С. 146). Однако если школа приравнивается к направлению, то как же направление может быть более широким понятием? Далее, говоря, о мифологической школе, автор обтекаемо и весьма неуклюже называет ее «первой научно-оформленной тенденцией исследования» (С. 147), сущность этой тенденции, впрочем, остается непроясненной: обзор работ (на уровне их простого перечисления) Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева, О. Ф. Миллера, к сожалению, не позволяет уяснить причины, по которым этих исследователей принято объединять в одну школу. Такого же эвристического и методического качества параграф, посвященный культурно-историческому направлению. Например, деятельности Н. С. Тихонравова отведено почти две страницы текста, из которых можно узнать, что он был собирателем и издателем литературных памятников, целый абзац рассказывает о том, что, давая оценку работе А. Д. Галахова «История русской словесности, древней и новой», Тихонравов не видел в ней «соответствия современным научным достижениям» (С. 159), что Тихонравов «считал себя исследователем, использующим сравнительно-историче-

⁴Ср. в «Поэтическом искусстве» Буало: «Узнайте горожан, придворных изучите; // Меж них старательно характеры ищите» (III, 391–392). Или: «Пусть вводит в действие легко, без напряженья // Завязки плавное, искусное движенье» (III, 27–28) и т.д.

скую методологию», и пользовался большим научным авторитетом. Однако, в чем суть его методологии и что такое «культурно-историческая школа», остается, в сущности, тайной.

Далее приводятся краткие очерки сравнительно-исторического и психологического направлений, которые более подробно рассматриваются в третьей и четвертой главах, посвященных А. Н. Веселовскому, А. А. Потебне и Д. Н. Овсяннико-Куликовскому. Эти главы содержат развернутую биографическую справку и реферативное изложение содержания основных работ ученых. Лишь говоря о теории внутренней формы Потебни, автор учебника решает проиллюстрировать эвристическую ценность данного понятия на примере собственного (sic!) анализа стихотворения А. А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе. . . ». К сожалению, анализ этот совершенно бесполезен и никак не помогает раскрыть сущность понятия «внутренняя форма». Уровень интерпретации хорошо иллюстрирует следующий пассаж (по поводу строки «Ты в синий плащ печально завернулась»): «Блок одевает свою героиню в плащ, а не как-либо иначе именно потому, что плащ – изначально одежда без рукавов и поэтически условно обозначает закрытость человека, его сосредоточенность на себе, его неспособность, неумение и/или нежелание услышать Другого – пусть даже самого близкого» (С. 201). В целом, третья часть представляется скомканной. Учебник, судя по названию, должен освещать формирование научных методологий, однако в том месте, где это формирование следовало бы рассматривать, дается неуклюжий реферат, в сущности, не обнаруживающий признаков методологической рефлексии.

Четвертая часть «Научные проблемы в русской литературной критике XIX века» открывается главой «Тенденции развития русской литературной критики XIX века и вопросы научной методологии», которая, помимо краткого введения, содержит обзор творчества В. Г. Белинского, «эстетической критики», «славянофильской критики», «органической критики» А. А. Григорьева, но закономерно не содержит ничего, что было бы связано с «вопросами научной методологии» (интересно, что сам автор всячески подчеркивает публицистический пафос критики тех лет). В последующих главах дается очерк деятельности В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, П. В. Анненкова, А. В. Дружинина. Реферирова их работы, М. Б. Лоскутникова словно боится отступить от первоисточника, а потому, не в силах его анализировать, вписывая в интеллектуальный контекст, вынуждена просто приводить цитаты, разбавляя их однотишными стилистическими комментариями: «При рассмотрении образа контрабандистки у критика рождаются поэтические сравнения. . . » (С. 247); «В своем анализе образа главного героя < . . . > Белинский обращается к развернутому сравнению. . . » (С. 248); «Вглядываясь в пушкинскую героиню, Белинский использует прием развернутого сравнения» (С. 254). Или: «Противник некорректности в суждениях, Дружинин уточнял. . . » (С. 329); «Анненков никогда не был категоричен, предпочитая размышления, рассуждения, предположения» (С. 338). При этом изложение изобилует разного рода логическими несуразностями. Так, говоря о том,

что «Белинский выступил поборником драмы как литературного рода», автор обосновывает (sic!) свою мысль известной цитатой: «Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей. . .» (С. 242). Говоря о проблеме художественности, автор пишет: «Анализируя ее, Чернышевский дал современное ему общественно-значимое понимание слова “художественность”: произведения Пушкина “прекрасны или, как любят ныне выражаться, художественны” <...>. Иными словами, художественность понимается как гармонизированность целого» (С. 272) – при этом не понятно ни в чем общественно-значимый характер понимания художественности у Чернышевского, ни то, как определяется им художественность (очевидно, что цитата не содержит никакого определения); не ясно и то, как из приведенной цитаты автору удалось вывести тезис о «гармонизированности целого». Таких примеров в тексте учебника, к сожалению, немало.

Содержательно четвертая часть едва ли может претендовать на полноту и логическую стройность. Еще менее содержательно и логично заключение, в котором говорится о том, что «русские исследователи внесли значительный вклад в изучение творческого метода <...>, художественности, народности. . .»; что «отечественные ученые и критики достаточно всесторонне рассмотрели творчество А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого. . .»; что «русская наука продемонстрировала широкую осведомленность и глубину знания европейских литератур и творчества У. Шекспира, М. Сервантеса, И. В. Гете, Дж. Г. Байрона и др.». Из чего делается вывод о том, что «русская исследовательская деятельность по праву зарекомендовала себя как явление конструктивное и плодотворное» (С. 349).

Характеризуя учебник в целом, следует отметить:

1. Его содержательную несбалансированность. Так, во второй части, посвященной XVIII веку, ничего не сказано о деятельности Феофана Прокоповича, Кантемира, лишь краткого упоминания заслужили «Правила пиитические» А. Д. Байбакова и работы Н. И. Греча, не говорится и об «Основаниях российской словесности» А. Н. Никольского. В третьей части очень кратко и неясно говорится о методологии соответствующих школ, не проводятся параллели с западноевропейским литературоведением XIX века (между тем, без этого контекста невозможно уяснить специфику филологической мысли той поры). В четвертой части за пересказом отдельных оценок почти не видно общественно-политической реальности эпохи, европейского интеллектуального контекста (помимо Баумгартена и Гегеля, влияние которого сведено исключительно к теории литературных родов), теряются важные тематические «лейтмотивы» (эволюция понятия «народности», «лишнего человека» и проч.). Отсутствуют и сведения, которые позволили бы перебросить мостик из века девятнадцатого в век двадцатый (развитие идей Веселовского в современной исторической поэтике, значение работ Потебни для становления формализма и проч.), без чего идеи русских литераторов, критиков и ученых XVIII–XIX веков оказываются деактуализированными, а само содержание учебника, по сути, теряет свое эвристическое значение для современного студента-филолога. При этом в учебнике масса лишней информации. Текст испещрен сносками, содержащими явно из-

быточные сведения, типа: «Кембриджский и Оксфордский университеты (Оксбридж) развивались самобытно» (С. 11); «Екатерина II (1729 – 1796) – российская императрица с 1762 г.» (С. 95). Биографические сведения также избыточны. Зачем, например, студенту знать, что «Писарев ушел из жизни <...>, утонув во время купания на Балтийском побережье (Дуббельня, под Ригой)» (С. 311), а Григорьев умер от хронического алкоголизма (С. 231), или что Потебня читал свои лекции по теории словесности «на дому, по просьбе нескольких девушек, готовившихся к педагогической деятельности» (С. 207)? В чем методическое значение этой информации?

2. Низкий уровень аналитики. Избрав принцип монографического очерка, автор обрек себя на реферирование: М. Б. Лоскутникова старательно воспроизводит идеи, пытаясь максимально следовать языку соответствующего критика, что, однако же, зачастую затрудняет понимание этих самых идей. Кроме того, «реферативное усердие» автора приводит к неоправданному раздуванию объема текста, который в некоторых параграфах мог бы быть сокращен в три-четыре раза без малейшего ущерба для смысла.

3. Высокую зависимость оценок от оценок, данных в предыдущих учебниках, прежде всего, в учебниках В. И. Кулешова и П. А. Николаева. Несмотря на то, что композиционно реферируемое издание вполне оригинально, в нем встречаются пассажи, в которых однозначно читается советское наследие. Ср., например: «Гегель научно-диалектически обосновал развитие эпоса, лирики и драмы как соответственно объективного, субъективного и объективно-субъективного взгляда на мир» (С. 261; диалектически – да, но научно ли?); «Классицизм отрицал творческую фантазию, декларируя только устойчивые формы красоты, что вело к недопониманию ее исторических и национально-классовых особенностей» (С. 35). Сюда же следует отнести многочисленные оценочные замечания, отсылающие по своему стилю к советской культурной историографии, рассматривавшей входящих в канон авторов XVIII – XIX вв. как своего рода недомарксистов, которые в той или иной степени превосходили марксизм, но в то же время чего-то еще «недопонимали». М. Б. Лоскутникова, вслед за советскими исследователями, переносит эту логику в область истории развития литературной теории. При этом наличное, современное знание понимается как единственно правильное и единственно возможное, выступающее в этой телеологии целью и вершиной развития истории. Сегодня такие пассажи представляются наивными, несовременными и неадекватными задачам учебника. Ср.: Чернышевский «обеднил теорию искусства, поставив знак равенства между трагическим и ужасным и не поняв духовной силы катарсиса» (С. 293); «по нормам и меркам современных научных представлений, Чернышевский <...> чересчур прямолинейно решает проблемы содержания и формы в области художественной литературы» (С. 278); «ни Гегелю, ни Белинскому в условиях 1-й половины XIX века не было доступно понимание того, что лироэпические жанры <...> в силу своей специфики <...> не являются в полной мере ни достоянием лирики, к которой эти жанры относил немецкий философ и искусствовед, ни фактом эпоса, к которому их при-

числял русский критик» (С. 263). Подобные замечания в тексте учебника многочисленны.

4. Недопустимо большое количество стилистических, речевых, логических «сбоев». Совершенно очевидно, что текст не подвергался не только научной, но и литературной редакции. Ср.: «Статичность же характеров не смущала и не угнетала мастеров классицизма» (С. 36); «В результате, питаясь за счет просветительских источников, из недр философии как самостоятельная дисциплина выделилась эстетика» (С. 38); «... синекдоха показана как “речение” с количественными характеристиками» (С. 51); «Тредиаковский раскрыл разницу между переводами стиха стихом или прозой» (С. 56); «... с середины XVIII века обозначились факты активного обогащения литературного процесса ценностями просвещения» (С. 95); «... идеи раскрепощения личности открывали новые горизонты видения жизни, ощущения ее объемности и качественных характеристик» (С. 108); «Еще более мягкий взгляд Надеждин бросал на Гоголя» (С. 130); «С помощью исторического метода анализа <...> он изучил развитие русской духовной культуры, и уже в первой лекции определил свой “очерк труда”, исходным положением которого стало понимание народности» (С. 138); «Веселовский <...> владел всеми основными европейскими языками <...>, а также древними языками, на которых осуществлял активный анализ» (С. 171); «В еще одной посмертной книге <...> Потебня <...> выступает сторонником понимания искусства через категории мышления...» (С. 208); «В пылу полемических страстей критик противопоставил “пушкинское” и “гоголевское” направления литературы» (С. 225); «Белинский <...> расширил горизонты эстетического видения литературных произведений» (С. 264); «Данную работу Чернышевского можно рассматривать как во многом приемлемый и поныне анализ жизни и творчества Пушкина, взятых в разграничении периодов развития его личности» (С. 276–277); «Являясь глубоким знатоком катарсиса, <...> Чернышевский...» (С. 292); «... произведения Тургенева и Толстого близки: в них есть мысль» (С. 340) и т.д., и т.п. Количество и «эстетический эффект» подобных речевых и логических «ляпов» таковы, что местами текст учебника начинает напоминать плохое школьное сочинение. Некоторые пассажи, напротив, напоминают выдержки из бюллетеня ВАК Белоруссии. Например: «Собирательская и издательская деятельность ученых, накопление ими материала, выработка значимых принципов анализа литературного произведения и литературного процесса (принципов историзма и системности) обеспечили поступательное движение науки» (С. 166).

5. Отдельного упоминания заслуживает методическое обеспечение учебного пособия. Каждая глава снабжена «контрольными вопросами и заданиями», формулировки которых просто не позволяют воспринимать их всерьез: «Как развивалась культура и знание в XI–XVI веках?» (С. 28); «Рассмотрите ученую деятельность А. Ф. Мерзлякова» (С. 143); «Изучите теорию образа Потебни» (С. 217); «Составьте представление о событиях жизни Белинского» (С. 264); «Как Чернышевский понимает прекрасное?» (С. 298); «Изучите этапы жизненного пути Добролюбова и особенности его мировоз-

зрения» (С. 320); «Назовите имена единомышленников Карамзина и обозначьте их вклад в русскую культуру» (С. 121). Скажем, что должен сделать студент, чтобы «изучить» особенности мировоззрения Добролюбова, и какими словами он должен «обозначить» «вклад в русскую культуру» единомышленников Карамзина? Отдельные задания с трудом поддаются пониманию, например: «Изучите вопросы обращения Чернышевского к категории и проблеме пафоса, а также вопросы наращивания им понятийно-терминологического аппарата литературоведческой науки» (С. 297; что такое «вопросы обращения и наращивания» и каким образом их можно «изучить»?); «Обратиться», «осветить», «охарактеризовать» и «рассмотреть» («Охарактеризуйте путь Радищева как русского просветителя и рассмотрите его книгоиздательскую деятельность», С. 105 – через какую лупу студент должен ее «рассматривать»?!). К сожалению, учебник не содержит методических указаний по выполнению этих контрольных заданий. Тем не менее, он, очевидно, не предполагает работу с первоисточниками (да и зачем, ведь они, в ущерб анализу, подробно зареферированы). Даже в тех заданиях, в которых студенту предлагается обратиться к той или иной конкретной работе, вопросы сформулированы так, что они не требуют знания этой работы. Допустим, предлагая на странице 192 «изучить» работу Веселовского «Психологический параллелизм...» и задавая вопрос: «В чем заключаются особенности “формулы басни” Веселовского?» – автор учебника имплицитно отсылает студента на страницу 183, где приводится соответствующая цитата. Думается, что знакомство с первоисточниками все же необходимо, тогда как учебник должен содержать не пересказ работ, а их аналитический разбор. Остается лишь надеяться, что преподаватели, читающие курс истории русской критики, не будут рекомендовать своим студентам данное учебное пособие.